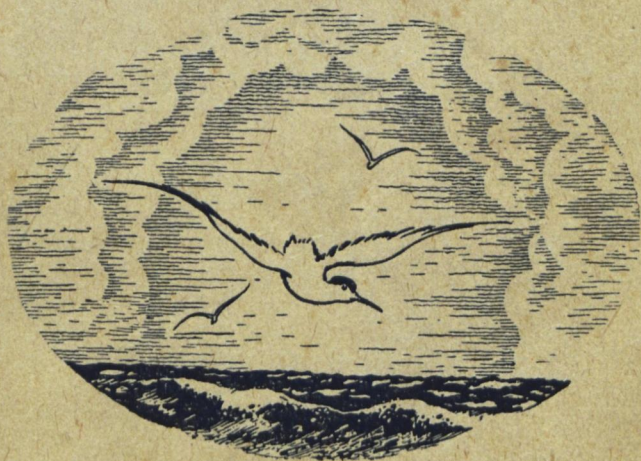


ВЛАДИМИР СВЯТЛОВСКИЙ

РУССКИЙ
УТОПИЧЕСКИЙ
РОМАН



ПЕТРОГРАД
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО

Евгений

1922

Б. Лужа

В. Святловский
Владимир Святловский

№ 17995

РУССКИЙ УТОПИЧЕСКИЙ РОМАН



ENSV
Riiklik Avalik
Raamatukogu

ПЕТЕРБУРГ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
1922

EESTI

RAHVUSRAAMATUKOGU

2-01-01092

Р. В. Ц. № 1041. Пе-
тербург Гиз. № 1010.
Отпечатано 2000 экз.
в 1 Гос. Типографии

ГЛАВА I.

УТОПИЧЕСКИЙ СОЦИАЛИЗМ.

Начавшееся в последнее время, примерно лет тридцать назад, более усиленное изучение истории социализма не могло обойти молчанием продолжительный предварительный период ее развития—утопический социализм. Отношение к предмету было недостаточно внимательным, чему, конечно, способствовала та своеобразная форма выявления мысли и ее пропаганды, которая издавна была усвоена этой частью идеологических построений. Мечтатели и провозвестники новых политических и социально-экономических оснований общественного устройства придавали своим планам ясность и занимательность, излагая их в виде романов или путешествий. Беллетристика, став излюбленной формой выражения социалистической мысли, обрисовывала государство будущего—новый социальный строй, обыкновенно в той или иной мере коммунистический,—в определенной и законченной картине. Получавшееся вместо теоретического изложения идей живое описание, глубина и художественность которого зависели от степени таланта автора, необыкновенно расширяло усвояемость и круг читателей. Литература почти всех культурных стран располагает гирляндами таких произведений.

Начиная с наиболее популярного сочинения этого рода, опубликованного в 1516 году английским гуманистом и канцлером Томасом Мором—«Золотой книжечки об острове Утопии», все подобного рода произведения получили отсюда наименование *у т о п и ч е с к и х*. Мор, впрочем, не был ни родоначальником утопизма, ни первым поставившим художественное творчество на службу социальных идей. Утопии составлялись за-

долго до Томаса Мора, и в античной Греции,—где их пишут и Евгемер, и Ямбул, и Феопомп, и в средние века, когда их слагают и араб Ибн-Тафейль, и француз Пьер Дюбуа, и чех Петр из Хельчиц. Томас Мор с своей ставшей надолго классической «Утопиею» был только одним из первых писателей, придавшим утопизму вполне светский характер и обосновавшим свой вымысел на условиях реальной исторической действительности.

Сроднившаяся с утопизмом беллетристическая форма все же не являлась исключительным приемом изложения планов устройства общества будущего. Утопические построения были иногда лишены беллетристической оболочки. Сам родоначальник социализма великий Платон изложил свои взгляды в виде поучительного философского диалога. Минуя беллетристику, социализм пропагандировали и многие позднейшие утописты: Георгий Гемистос Плетон, Корнелиус Плокбой, Джон Беллерс, Сен-Симон, Роберт Оуэн. Но все же беллетристическая форма являлась самою устойчивою и излюбленною формою изложения утопии. В итоге выработались свои традиционные манеры, свой условный стиль, своего рода ложно-классицизм. Наиболее шаблонный подход к царству грядущего—это описание новой страны как результат кораблекрушения у ее берегов или пробуждения после долгого сна в новой обстановке. Иногда завязкою служит вымысел о находке рукописей, излагающих приключения на той или иной территории будущего.

Вступительный вымысел бывал иной раз так художественно изображен, что вызывал доверие более наивного читателя. Долгое время ломали головы над определением местоположения Атлантиды—мифической страны, изображенной Платоном в Критии и Франциском Бэконом в «Новой Атлантиде». Об этих догадках существует целая литература. В XVI веке разгоряченная новыми открытиями фантазия настойчиво разыскивала Моровский остров на географических картах. Не сразу сообразили, что точный адрес царства социального идеала был указан уже самим Мором: слово утопия составлено, по моде тогдашнего времени, из греческих слов «у»—«топос», т. е. нигде, несуществующее место.

Современность располагает громадным количеством утопий. Образовалась целая коллекция, которой необходим свой ката-

лог. Я насчитываю в составленном мною списке—217 сочинений подобного рода. Несколько немецких ученых—Роберт фон-Мольте, Клейнвехтер,—пытались классифицировать утопии по их внутреннему содержанию и темам. Их списки неполны и устарели. К тому же они отбирали утопии чрезмерно строго и не всегда с достаточной осведомленностью. Правда, отбор необходим. Один венский антикварный каталог частного собрания сочинений утопического содержания вмещает 1850 номеров ¹⁾.

В списках Клейнвехтера и Моля отсутствуют утопии, написанные до Томаса Мора, затем мало известные многочисленные утопии XVII и XVIII столетия, вроде утопии польского короля Станислава Лещинского, и, наконец, утопии самого новейшего времени, как утопии Беллами, Вильяма Морриса, Курда Ласвица, Герцки и других. Конечно, немецким ученым неведомы и русские утопические произведения. Не знают их и специалисты по истории утопий, как за границею—Сюдр, Каутский, Кирхгейм, Фойгт, Свентоховский, ни наши—Щеглов, Русанов, Рожков, Тотомианц. Названные мною писатели изображают всю продолжительную историю утопизма в виде однообразного периода развития, начинающегося с Мора и завершающегося к началу 19 века эпохю «великих утопистов»,—Сен-Симон, Фурье и Оуэн,—причем только один из трех,—а именно Фурье, по форме своих фантазий поддерживает традиции шаблонного утопизма.

Более внимательное изыскание показывает свою «смену вех». История утопизма за долгий период своего существования знает свои этапы развития и свои уклоны, разнообразные и поучительные. Особенно важный перелом связан с эпохою Руссо.

Современная наука недостаточно изучила область социальной фантастики или социального утопизма, она вообще уделяла мало внимания этой своеобразной и важной форме литературы, которая иногда оказывалась влиятельнее прямой пропаганды или поучения.

¹⁾ «*Bibliotheca utopistica*»—Katalog einer Merkwürdigen Sammlung von Werken utopistischen Inhalts 16—20 Jahrh., aus dem Nachlasse *Ludwig Hevesi*, mit einer Einleitung v. Prof. F. v. *Kleinwächter*, Wien (Gilhofer & Ranschburg) (Katalog № 101).

Парагвайское коммунистическое государство пезуитов в конце XVI века, движение анабаптистов в XV и XVI в.в., переселение французских икарийцев в Соединенные Штаты в конце 40-х годов XIX столетия— вот наиболее типичные случаи воздействия фантазии на поведение больших людских групп.

Утопия вообще всегда шла впереди жизни, вдохновляла активное жизнетворчество.

Утопический социализм со времени появления научного был осужден, и притом более чем он того заслуживал.

Чрезмерно резкое отграничение утопического социализма— бывшее необходимым в конце 40-х годов 19-го столетия при выработке марксизма— в «дни размежевания» всегда с особой настойчивостью подчеркивалось Энгельсом и перешло, как завет, к его идейным правопреемникам. То, что в свое время было и своевременным и нужно, у них превратилось в тормоз.

Идея, имевшая целью подчеркнуть особенность марксистского подхода к социальной проблеме и к идеологии, выродилась в пренебрежение к социальной фантазии и вообще ко всей эпохе утопизма. Это уже ошибочно и несправедливо.

Утопии— действительно «буревестники истории». Они вносят красоту и жгучесть «воли к идеалу» в социальное творчество. Золотые сны утопии скрашивают серую прозу жизни и вызывают стремление вперед, к чарующим далям грядущего. Они— дыхание романтизма, но не в минувшем, а в будущем. Они— сказки грядущего. Их нельзя не любить, нельзя не изучать....

ГЛАВА II.

УТОПИЗМ В РОССИИ.

I.

Россия с изначальных дней своей европеизации,—этого основного процесса ее развития в новейший период,—не осталась чужда утопической литературе. Выделив из своего социального состава интеллигенцию,—эту истинную «дщерь Петрову», Россия как бы вверила ей свое идеалистическое искание. Стремление к идеалу протекало при общей отсталости страны, при безмолвии масс и, естественно, всегда сводилось к одной основной проблеме—к политической. Хроническая концентрация общественной мысли и напряжения интеллигенции в одну определенную сторону—отодвигали все иные вопросы на второй план. Поиски экономического идеала получали второстепенное значение. Вначале политическое освобождение, затем уже устройство. Это придавало всей русской интеллигенции и ее идеологии—особый характер; это же ослабляло краски социально-экономической фантастики. Они были бледны легко сбивались на местную гражданственность, проникались патриотикою. Поэтому ими так мало интересовались.

Утопические сочинения русских авторов—вопрос почти неисследованный.

Один из наших молодых беллетристов, подвизающийся ныне и в области литературной критики, недавно решительно, но неосновательно заявил, что в до-революционной русской литературе «образцов социальной и научной фантастики почти нет; едва ли не единственными представителями этого жанра окажутся рассказ «Жидкое Солнце» Куприна и роман «Крас-

ная Звезда» Богданова, имеющие скорее публицистическое, чем художественное значение» ¹⁾).

Дальнейшее изложение покажет неверность этого суждения. Нетрудно убедиться, что за последние двести лет в русской литературе не раз выдвигалась утопия, как тема для обработки. Настоящий набросок и ставит себе целью поставить первые вехи истории утопизма в России. Конечно, это только первоначальный и, по всей вероятности, неполный набросок. Мы вообще довольно основательно забыли свое прошлое, даже недавнее прошлое, тем более, что литературно-критический анализ мало подходил к этой теме. Но все же кое-что уже сделано. Работы Пыпина, Сиповского, Мякотина, Кизеветтера, Сакулина не могут быть обойдены молчанием. Они касались только двух авторов—князя Михаила Щербатова и князя Владимира Одоевского. Остальные утописты не выяснились. Литературно-критический подход к тому же не исчерпывал вопроса. Выяснение социально-экономической стороны наших утопий,—особенно важной для этого рода произведений,—оставалось в тени.

В дальнейшем, не излагая истории утопического социализма в России, мы задаемся только попыткой наметить историю и установить экономическое содержание беллетристических утопических произведений русских авторов, но повторяем, что и это только набросок и притом набросок первоначальный.

II.

Наши утопические произведения с социальным содержанием, то, что принято относить к группе «*Staatsromane*» (по Клейнвехтеровской классификации), располагаются хронологически в следующем порядке.

XVIII век дает группу сочинений, среди которых наиболее значительным является утопия князя *Щербатова*. Она называется «Путешествие в царство Офирское» и написана в 1783—84 году. К этой же эпохе относятся сочинения: «Русская Памела»—*П. Львова*, нравоучительные утопии *М. Хераскова*, *Дмитриева-Мамонова* и *Левшина*, романы *Ф. Эмина*.

¹⁾ *Евг. Замятин*: Герберт Уэллс. Петербург («Эпоха»), 1922, стр. 47.

Внимание к ним поддерживается переводами утопий с иностранных языков.

В XIX столетии за утопические сочинения берутся в середине двадцатых годов—Фаддей *Булгарин*, в тридцатых—*Вельтман*, в начале сороковых—князь Владимир Федорович *Одоевский*. Вторая половина этого столетия беднее. Утопией заняты попутно *Н. Г. Чернышевский* и *А. А. Богданов*. Можно упомянуть имена *Куприна*—(рассказ), *Замятина* и *Шапошникова*, не окончивших и не опубликовавших своих сочинений, да набросок коллективного затерявшегося романа, составленного группою народовольцев в Карийской каторжной тюрьме.

Наше столетие, особенно после 1905 года,—этой «генеральной репетиции» великой русской революции,—вновь подымает интерес к утопическим построениям, о чем свидетельствует появление ряда переводов иноземных утопий.

У петербургских рабочих в это время пользуется успехом переложение, сделанное Николаевым, утопии Беллами «Через сто лет». Вышла также, но прошла незамеченной «Красная Звезда» *А. А. Богданова*, стоявшего на большевистской точке зрения. Но утопия *Богданова*—утопия не социальная; она должна быть отнесена к типу технических утопий. Марсиане, в силу естественного хода размножения должныствующие выселиться на другую планету, избирают местом своей колонизации Землю. Утопия изображает приключения одного из первых разведочных отрядов. Приключение сопровождается любовною интригою между мнимым автором утопии и одной из марсианок. До 1917 года «Красная Звезда» была единственною русскою утопиею с социалистическим содержанием. В великую Революцию *Богданов* добавил к ней продолжение «Инженер Менни», небольшую изящную вещицу того же направления, что и первая его фантазия.

ГЛАВА III.

РУССКИЕ УТОПИИ XVIII ВЕКА.

1. Общий характер.

Прелестен и величественен этот большой век на Западе, век — все еще мало изученный и оцененный, век, так сильно повлиявший на мировоззрение русской интеллигенции. Золотым ключем, раскрывающим сокровищницу его духовного содержания, является Жан-Жак Руссо и его воззрения, объясняющие и соединяющие сразу, как узловая станция, все пути и духовной политики, и социальных достижений, и утопических устремлений. Уразуметь Руссо—это разгадать сокровенный смысл всей замечательной эпохи и понять, как человеческая мысль проникла в сущность тогдашней жизни: ставился вопрос не о данном социально-политическом строе, а о судьбах всей европейской культуры. Не порядок Франции XVIII века, а вся европейская цивилизация признавалась ложной.

Вместе с тем преломляется и история утопического социализма. Он становится *рационалистическим* и проникнутым идеями *естественного права*.

Аббат Морелли в «Базилиаде или в Крушении пловучих островов» (1755) дает аллегория на крушение всей цивилизации. Руссо и руссоисты желают не улучшить и реформировать Францию, а на новых основаниях перестроить всю человеческую культуру, ставшую столь городской и столь ложной. Теперь спасают все человечество. Утопия становится абстрактною, международною, над-историческою. Рационалистический универсализм—вот общая форма социальной философии этого века.

Между тем события идут, и время становится все более сложным. Разгорающаяся индустриальная революция открывает новые горизонты. Закладывается фундамент нового промышленного строя. На нем покоятся циклопические глыбы рационализма, между которыми разливается огненная лава демократизма и эгалитарности.

Строители еще не чувствуют противоречия между развивающимися формами нового быта и быстро стареющей идеологиею. Растущий промышленный капитализм с его концентрацией капитала и революционизирующим пролетариатом скоро и неизбежно разрушит высящееся над ним стройное здание идей, сложившихся на иных основах и в иное время.

Удары духовной кирки этих зодчих разносились тогда по всему цивилизованному миру. Россия тоже не могла не содрагаться. Но Радищев и Новиков, Пнин и масоны, а сильнее других декабристы,—желали присоединиться «к Западу», не задумываясь к какому, стремились приобщиться к европейской жизни, не анализируя ее оснований. Ими руководило одно пламенное желание: в грозных и тяжелых русских условиях создать основы культуры — *законность* и *гражданственность*.

В этом и состояла их утопия, которую они постигали не только в мечтах, но и решились осуществить в действительности.

В этих замыслах наши новаторы были детьми своего века—русскими дворянами, думающими прежде всего об интересах своего класса. Такова была классовая подоплека трех наиболее выдающихся просветителей Екатерининского времени: Радищева, Новикова и Щербатова. Последний был самый старший и самый типичный, на нем и остановимся.

2. Кн. М. М. Щербатов.

Князь Михаил Михайлович Щербатов (1733—1790) был первым русским утопистом.

Перед нами определенная общественная фигура: просвещенный дворянский публицист, человек с большим образованием и с еще большим темпераментом, наиболее видный, наи-

более блестящий оратор Комиссии Уложения, наиболее солидный русский публицист той эпохи. Для трудной роли независимого общественного деятеля он подготовлен серьезнее и лучше других: Щербатов историк и один из наиболее ученых людей своего времени. Недаром он автор первой русской статистики, а в его библиотеке содержится более 15 тысяч томов книг научного содержания. Г. В. Плеханов в своей «Истории русской общественной мысли» полагает, что кн. М. М. Щербатов «был во второй половине XVIII века едва ли не самым замечательным идеологом русского дворянства», хотя он тут же добавляет, что эта «дворянская идеология имела у него свой особый оттенок» (том III, М., 1918, стр. 281).

Щербатов по своим политическим убеждениям примыкает к английским конституционалистам, он ненавидит «самовластное правление», «монархизм», «деспотичество». Последнему, по его мнению, всегда наступает «жестокий конец», потому что «долг и благосостояние» каждого влекут его «низвергнуть его», «низвергнуть сего кумира, никогда твердых ног не имеющих».

Щербатов согласен с учением об естественном праве и первоначальном договоре, он руссоист, но думает иначе, чем, например, англичанин Томас Гоббз или наш Феофан Прокопович. «Правду воли монаршей» Прокоповича он считает «памятником лести и подобострастия».

Вообще Щербатов политически человек определенных твердых убеждений и самостоятельных взглядов. Он патриот в лучшем смысле этого слова, он гражданин, ясно сознающий лежащий на нем общественный долг.

Иное дело — его экономические убеждения, они типично классовые, крупнопомещичьи, что впрочем тогда вполне спокойно уживалось с политическим либерализмом.

Политические и философские идеи западных авторитетов Щербатов усвоил вполне, но вносит в них свои оригинальные поправки, которые диктует ему русская история и русская действительность XVIII века. От последней он не отворачивается, а относится вдумчиво и сознательно, приспособляя к ней западные просветительные идеи. Он выбирает из богатого европейского арсенала только нужное и целесообразное с его точки зрения.

Сочинения Щербатова разнообразны, темы своевременны и интересны; тон страстный и убежденный, часто смелый и резкий. Он не льстец и не искатель, а гражданин-патриот, что само по себе уже было много.

Говоря о самом себе, он признавал «некоторое нетерпение и чувствительность к тягостям ближнего, но оправдывал их «любовью к отечеству» и отсутствием «подлого раболепствования».

Щербатов скорбит об участи русского гражданина, который «влачит тягость жизни своей, не имея ни твердых законов, ни знающих правителей, ни чинов управления, достаточную силою снабженных»...

Жизнь, честь и имущество русского гражданина «не более в безопасности, чем слабая лодка без руля среди моря. Нет ни правила, коему мог бы последовать, ни пристанища, где бы узрел свое спасение» ¹⁾.

Такой порядок, или, вернее, беспорядок, по мнению Щербатова, в корне противоречит действительным задачам государства, которое должно охранять естественные права каждого гражданина, содействовать осуществлению «общего блага», так как только для достижения этой цели «люди уступили часть своей свободы и своих выгод, дабы другими частями безопасно пользоваться» ²⁾.

Для осуществления своего политического идеала Щербатов не требует, как европейские утописты, ни равенства всех перед законом, ни уравнивания в привилегиях, ни имущественного коммунизма.

Щербатов отстаивает и неравенство, и частную собственность, и индивидуальную инициативу. Из общей массы народа он выделяет одно только родовитое дворянство, которому и поручает «заботу об общем благе». Кроме политических привилегий Щербатов стремится наделить этот класс и всеми экономическими преимуществами, заботясь о поддержании и сохранении только одной «родовитой породы». Этому классу

¹⁾ Щербатов, кн. М. М.: Сочинения, т. II, СПб., 1898, стр. 248 и 251 (статья: «Оправдание моих мыслей»).

²⁾ Щербатов, кн. М. М.: Сочинения, том I, СПб., 1896 (статья: «Разные рассуждения о правлении»), стр. 421.

он и в своих памфлетах, и в своей утопии всемерно старается подчинить все остальное население и даже верховую власть.

Естественно, что Щербатов против освобождения крестьян от крепостной зависимости и сознательно отдаёт их под опеку дворянства.

С такого рода строго классовыми воззрениями, дошедшими до кульминационного пункта своего выражения, Щербатов и подходит к созданию своей утопии.

3. „Путешествие в землю Офирскую“.

Так озаглавленное сочинение князя Щербатова представляет собою типичную русскую утопию последней четверти XVIII века, хотя незаконченную и неотделанную, но написанную человеком уже в зрелом возрасте,—Щербатову к началу ее составления уже минуло 50 лет,—и по солидности замысла не уступающую сходным произведениям того же времени.

«Путешествие в землю Офирскую» рассказывается от имени «господина С., шведского дворянина», составлено оно в 1783—84 году, т.-е. накануне Великой Французской Революции. Это сочинение долго оставалось в рукописи, как и вообще многие из работ Щербатова, несомненно, по условиям цензуры. Распространялось ли «Путешествие» в рукописных копиях, мне неизвестно.

«Офирская земля» снабжена обычным вступительным вымыслом, маскирующим действительного автора и его намерения. Этот шаблонный прием, нечто среднее между лукавством и застенчивостью,— у Щербатова упрощен до крайности: потерпевшего кораблекрушение «шведского дворянина» приютили жители неведомой Офирской земли, где нравы, обычаи и учреждения оказались достойными внимания и изучения.

Щербатов знает, что библиотеки полны множеством «путешествий», сходных с его сочинением, но все же не может воздержаться не опубликовать описания страны, в которой «никто не бывал». Она интересна не «великими чудесами» в рассуждении естественного состояния, а особенностями своего устройства и быта. Во-первых, в ней нет международной

торговли, во-вторых,—она замечательна «мудрым правлением, в котором государственная власть сообразована с народною пользою». Здесь «вельможи имеют право со своею приличною смелостью мысли свои монарху представлять, ласкательство прогнано из царского двора, и истина имеет во оный невозбранный вход», здесь—«законы сделаны общим народным согласием, и беспрестанно исправляются и улучшаются». Правительственных чиновников и дел у них—немного, вельможи, как и простонародие, не «пышные, не сластолюбивые», а искусны, добродетельны и трудолюбивы. На первом месте в стране стоит добродетель, затем почитают закон, а уже после царя и вельмож. В столицу этой страны «Перегаб» шведский дворянин С. попал в 1774 году, когда она была уже частью в развалинах. Перегаб—это Петербург, Офирия—Россия, но с более скромным образом жизни. История Офирии—русская история, словом, аналогия полная и несомненная. Только Щербатовская Россия патриотически вернула столицу в старую Москву, отчего в Перегабе часть зданий за ненужностью уже «в развалинах».

Во главе Офирского государства стоит наследственный монарх, которому принадлежит власть исполнительная, но он имеет возможность влиять и на законодательство, хотя сами цари, по Щербатову, «неудобны» для сочинения законов. Наследственность верховной власти не помешала, однако, тому, что два предыдущих императора земли Офирской были свергнуты с престола и закончили свою жизнь в тюрьме.

«Высшее правительство» разделялось на несколько департаментов, где кроме назначенных чинов «высшего правительства» присутствуют «выборные», как от дворянства, так и от купечества. В депутаты «от купечества» можно было выбирать не только торгующих, но и мещан и ученых. «Назначаемые» члены избираются императором из числа кандидатов, также выбираемых.

Справедливость требует отметить, что Щербатов на указанной форме правления не остановился. В другом своем еще более позднем сочинении: «О повреждении нравов в России», написанном в 1786—89 годах, Щербатов не довольствуется строем, изображенным в «Путешествии». Здесь он

определенно высказывается за ограничение самодержавия сенатом или парламентом, а не кучкою родовитых олигархов, как в «Земле Офирской». В выборные в сенат кроме дворянства Щербатов рекомендует даже представителей купечества.

Жители Офирской земли просты, умеренны и скромны. Званный обед у начальника порта дает представление об условиях быта и нравах.

«Скатерть была простая, лежали тарелки, ножи, вилки и ложки, так как по-европейски, восседали на стульях. Сервиз был жестяной и хотя все с великой чистотой, но и с великой простотой было. Кушанья было очень мало. Хотя нас было десять человек за столом, но обед состоял из большой чашки похлебки, с курицею и травами сваренной, из блюда говядины с земляными яблоками, из блюда рыбы вареной, затем—жареной дичи и, наконец, из пирожного, сделанного с медом, на молоке и яйцах. Пили мы в зеленых стеклянных больших сосудах воду, а потом мы потчеваемы были разными напитками: водою из сосновых шишек с медом, водою из черной смородины и одним густым питьем из проса (наподобие нашего пива)».

Повидимому вельможе-автору показалось, что он перехватил в скудости питания, поэтому после обеда из пяти блюд Щербатов ведет приглашенных в гостиную, где их еще угощают свежю земляникою, клубникою, черникою и морошкою, которую там едят «с сотом меда и патокою в горшках».

За столом радушная хозяйка поразила своею «великою скромностью», и сделала гостям «многие учтивости».

Простоте стола соответствовала и простота помещения. Стены белые, алебастровые, без украшений, мебель из простого дерева. На улицах езда на быках. Вообще нигде никакой пышности и великолепия. Спиртные напитки неизвестны. Взаимоотношения—просты и добродетельны. Законы мягки и снисходительны. Судопроизводство гласное и скорое.

В описании города Перегаба и его державного основателя Переги нельзя не узнать нашей северной столицы и Петра Первого. Царствующий Сабакола, взойдя на престол, перенес столицу обратно в Квамо, т.-е. в Москву, согласно исконным

старорусским вождедениям, о которых патриотически мечтал и Щербатов.

Попутно говорится о русских городах, которых в эту эпоху основывалось большое число и притом буквально одним росчерком пера. Щербатов высказывается за градостроительство только при наличии определенных экономических условий—«мастерство и рукоделье», «торги и пристанища», «удобность места, стечение народа и самый достаток жителей» и т. д. Вообще он идейный враг города, считал его, как все руссоисты, источником «повреждения нравов». По его мнению, города должны быть разбросаны определенной сеткою (с расчетом доехать до каждого из них из любого медвежьего угла в два-три дня), и прямое их назначение—усиление темпа внутренней торговли. Последней должна помогать промышленность, которая в Офирии процветает. Щербатов первый намечает вопрос о правильной районизации страны, новое деление которой на губернии его не удовлетворяет, и он, пользуясь случаем, входит в пространные по этому поводу рассуждения. Вообще публицист чувствует себя на каждом шагу.

Знакомство с правящим императором и его двором, простым и несложным, и поездка в Квамю — мало интересны. По пути в столицу, автор проезжает мимо военных поселений и горячо пропагандирует будущую идею Аракчеева. Он многословно описывает достаток и благоустройство этих селений, находя их удачным разрешением вопроса о соединении солдатчины с земледельческим трудом. Затем на пути укрепленный и торговый город Габановия, осмотр которого рисует обычный русский губернский город, но приукрашенный патриотическим усердием автора. Тут же он посещает школу, где не последнее место занимают спорт и военные «экзерсии».

Учение связано с религиозным воспитанием, жрец храма в то же время и учитель. «Каждый поселенский сын, достигший пяти лет, должен во всякую неделю ходить в училище, по три дня (очевидно в неделю) на целый день в зимние месяцы». Учение бесплатно. Учатся оба пола, но в отдельных училищах. Всех обучают «катехизисам нравственным и гражданским», текст которых тут же и приводится. Это прописная мораль и основы теизма.

Вообще теизм—религия офирцев, чего и надо было ожидать от просвещенного вольтерьянца. «Мы, люди, твари, одаренные разумом», заявляет Щербатов. Жертва Высшему Существо «сердце чистое». В утопии приводятся тексты молитв и порядок богослужения.

Подробно регламентируются имущественные отношения при браке. «Главный трибунал благочестия» наблюдает за нравственностью и супружескою жизнью. Измена не допустима и наказуема.

Богохульники объявляются сумасшедшими. Особые заботы вызывает попечение о здоровьи, безопасности и спокойствии офирцев. Роскошь и обжорство—главные пороки, их надо «убегать».

Автор осматривает царский дворец, императорские гробницы и ботанический сад.

Описание слегка оживляется введением небольшой сентиментальной любовной истории одного военачальника, храброго и добродетельного, Бомбея-Горы.

Утопия прерывается в начале обстоятельного описания разных «знатных» присутственных мест столицы, числом свыше 30,—которые «шведский дворянин г-н С.» должен посетить.

4. Идеология „Офирского государства“.

Изменяя основному построению каждой утопии—полярности действительности, утопия кн. М. М. Щербатова не изобразила что-либо противоположное существовавшему в его дни в России строю—республиканской или коммунистической организации. Это, казалось бы, могло быть так естественно в дни Великой Французской Революции, всколыхнувшей все европейские страны. Наш автор—помещик, националист и патриот, критически воспринимающий западное. Поэтому основы политического и социально-экономического уклада Офирской земли у Щербатова те же, что и в тогдашней Екатерининской России: хотя умеряемый, но все же «монаршизм», «деспотичество», сословность с определенным преобладанием дворянства, феодально-землевладельческий строй хозяйства. Как дань утопии, отчасти воспринимаемой с Запада—смягчение и попытка облагородить старый, давно знакомый остов императорской кре-

постной России с ее бесправием и самодурством. Идеи Руссо, Вольтера и моральных тезисов масонства смягчают в построении Щербатова острые углы действительности. Она окутана облагораживающими идеями умеренности, гуманности, подчинения личности гражданскому долгу. В угоду этим воззрениям в Офирии отсутствуют: самовластие «деспотичества», незаконные и леность, роскошь и мотовство, «цезарепанизм», а также откупа и водка, иноземная торговля и регулярные войска с рекрутскими наборами и растлевающей казарменной жизнью, Функция «охраны отечества» предоставлена военным поселениям, сколок с казачества, т.-е. прообраз той несчастной идеи, которая много лет бродила в умах правителей России, пока не привела к Аракчеевщине.

Вообще «Земля Офирская» царство добродетели, законности и простоты, т.-е. полная противоположность той России, которую гневно избличал тот же Щербатов в своем известном памфлете: «О повреждении нравов в России». Идеалы добродетели и справедливости сглаживают социальные углы и резкости разнузданного помещичьего строя, к которому автор вообще относился снисходительно. Вельможа и простолюдин, император и чиновник, помещик и крепостной—мало разнятся между собою, разве лишь в обычаях и достатке: все население земли Офирской ведет строго умеренный, почти пуританский образ жизни, чуждый излишеств и роскоши, преисполненный святости исполнения долга и закона. Процветают гуманность и филантропия.

Кроме нравственных идеалов, вообще столь свойственных тогда последователям *масонства*, другой элемент эпохи—*вольтерианство* также накладывает определенный отпечаток на утопию просвещенного Екатерининского вельможи. Официальный религиозный культ «цезарепанизм», со всем многочисленным классом его служителей отсутствует. Деизм—*profession de foi* Вольтера,—вот религиозно-философская основа офирского народа. Воззрения, быт и нравы последнего—отражение взглядов самого Щербатова. Он сильная и своеобразная фигура в эту эпоху подражательности без критики и беспринципных заимствований. Европейски образованный, Щербатов сумел сохранить и независимость мысли, и гордость консерватора-

патриота. Отсюда и укор исследователя знаменитого Екатерининского культурного триумvirата—Новиков, Радищев, Щербатов—Боголюбова в отсутствии в общественном мировоззрении Щербатова «внутренней органической стройности»¹⁾. «Либерал в области политической и крепостник в области социальной,—говорит тот же автор,—кн. Щербатов стал в очень неудобное положение по отношению к русской действительности: метко и язвительно критиковал ее политические порядки и восторгался прелестями крепостного права, мечтал о торжестве законности в русской жизни вообще и защищал «законность» власти помещика над крестьянином. Свет западной философской мысли осветил ему тьму русской жизни лишь сверху, его отношения к правительству, но резко выраженное сословное чувство помешало ему донести этот свет до низов—до его отношений к народу». Боголюбов совсем не понимает, что и руссоисты и физиократы на Западе, так же, как и все представители нашего благородного и наипросвещеннейшего шляхетства, были проводниками строго классовой точки зрения и что между нею и идеями политического и экономического либерализма существовала глубоко-принципиальная и кровно-органическая стройность.

И физиократы, и конвент защищали идеи частной собственности, как наши просветители крепостное право из сострадания к неразумному крестьянству.

Воззрения Щербатова, как публициста и общественного деятеля, и воззрения Щербатова-утописта, хотя и исходят из тех же источников времени и места, сословия и образования, но не совсем тождественны. Убежденность Щербатова в социальном неравенстве людей и в преимуществах родовой знати, в национальных особенностях русского быта и важности помещичьего представительства в высших органах власти, утрачивает резкость своего выражения в утопии и растворяется в общих теоретических положениях его времени. Даже его классовое стремление к захвату политической власти теряет свою напористость и расплывается в добродетельной гуманности.

¹⁾ Боголюбов В., Н. И. Новиков и его время. М. 1916 г., стр. 163.

5. Источники Офирии.

Утопия кн. Щербатова составлена по обычному литературному рецепту XVIII века; как форма—она шаблонна и подражательна. Образцами служили несколько европейских сочинений единовременно. Но от этого не утрачивается оригинальность. «Путешествие в землю Офирскую, — говорит Чечулин, — не является произведением вполне оригинальным, но вместе с тем оно не есть и прямое подражание какому-либо одному образцу¹⁾». Щербатов прежде всего имел в виду *реальные условия тогдашней России*, их описание—первый источник его творчества, затем он пользовался единовременно несколькими социальными романами, но ни одному из них не следовал безусловно и вложил в свое сочинение свое собственное содержание. Образцами, влиявшими на Щербатова, были одно немецкое и три французских сочинения, а именно:

1) «*Королевство Офирское*» — анонимная утопия, появившаяся в Германии в 1699 году.

2) «*История Северамбов*» Дениса Верраса Д'Алле, напечатанная впервые во Франции в 1677 году.

3) «*Приключения Телемака*» аббата Фенелона, Париж, 1698 г. и

4) «*Разговор европейца с островитянином*», польского короля Станислава Лещинского, Париж, 1752 г.

Первые три сочинения появились за сто лет до Щербатовской утопии, последнее—за полвека: вот как медленно двигалась на восток европейская мысль. Нечего и говорить, что над всеми западными образцами господствовало одно общее идейное влияние—дух Платона, но, конечно, никакой непосредственной связи между «Государством» Платона и Щербатовским «Путешествием» не было. Сочинение великого греческого философа Щербатов знал хорошо. Если в «Путешествии» о Платоне прямо не говорится, то в других сочинениях Щербатова: «Статистика» и «Разговор о бессмертии души» на Платона делаются прямые ссылки. Сочинения Платона Щер-

¹⁾ Чечулин, Н. Д. «Русский социальный роман XVIII века» Спб., 1900 г.

батов к тому же мог уже читать в русском переводе. В 1785—86 г.г. появились у нас впервые «*Творения велемудрого Платона*», переведено с еллино-греческого свящ. *Ив. Сидоровским* и *Матвеем Назимовым*», в 3-х частях. На соотношениях между Щербатовым, Веррасом, Лещинским и анонимным автором «Офирского Государства» стоит вкратце остановиться.

«Офирское Государство» повлияло на Щербатова не только своим библейским заглавием. И анонимный немецкий автор, и его русский подражатель выдвигают на первое место религию и религиозные учреждения, управляемые у обоих сильною светскою властью («верховная консистория» у одного и «верховный трибунал благочестия» — у другого). Затем заметно сходство и в мелочах: оба автора против браков своих монархов на иностранках, против торговли испорченными съестными припасами, против распущенности солдат, и оба за целый ряд ограничений и формальностей, проникнутых духом мелочной полицейской регламентации. Конечно, в обеих утопиях население весьма далеко от совершенства, преступно и мало благородно, почему сохраняется и система суровых наказаний. Помимо уголовного кодекса оба мечтают оказать воздействие на граждан морализациею. Но мораль их весьма невысокого качества, заимствованная из катехизиса и полицейских lamentаций. Много сильнее и глубже повлиял на Щербатова Веррас. Его удачная и интересная утопия проникла во все произведения русского писателя, начиная от способа составления собственных имен и кончая трактовкою вопросов религии и управления. Но Веррас последовательный коммунист, его «осмазии» прототипы фурьеристских фаланг, его система выборов — предтечи демократизма будущего, а Щербатов — не только защитник частной собственности и индивидуального брака, но целиком склоняется к сословному полицейскому государству с его резким централистическим вмешательством «во все и во вся», с его привилегиями для знатных и родовитых.

Некоторые мелочи — напр., вопрос о преимуществах постоянного войска над наемным, о происхождении богопочитания у первобытных народов — свидетельствуют, что Щербатов

не избег некоторого влияния и утопии польского короля Станислава, но эти две-три мелких сходных черты скорее вызваны общим источником их заимствований и общим духом идей XVIII века, а не непосредственным подражанием. Чечулин склонен найти кое-какие мелочи в утопии Щербатова, напоминающие утопии Фуаньи, Гольдберга и Ретиф-де-ля-Бретонья, но его доводы мало доказательны, и указания настолько ничтожны, что на них не стоит и останавливаться.

Помимо утопий на Щербатова влияли общие идеи второй половины века, руссоизм и политические идеалы Монтескье. Они дали общий тон его суждениям и придали рационалистический и морализирующий характер той окраске всей утопии, которой внутреннее содержание наполнила Россия. Его утопия—*облагороженная и смягченная на Щербатовский лад русская действительность Екатерининской эпохи*. Реальные условия—вот основа его фантастики, столь местной, временной и земной. Описывая свое Офирское царство, Щербатов совсем забывает идеи демократии и эгалитаризма, идеалы гражданской свободы и принципиальной законности и дает повторение наследственной монархии со строго сословной организацией, в которой доминирует родовое дворянство. Оно ограничивает власть императоров и отдаляет их от народа. Вельможи—это фактические правители и высшие администраторы страны. Во всем остальном Офирия—Россия: те же права и обязанности остальных сословий, та же централизация и разделение на ведомства, те же государственные и местные учреждения. Такою политическою системою Щербатов вполне доволен: она приводит, по его мнению, страну в блестящее экономическое положение. Создается равновесие между богатством и бедностью, средние умеренность и довольство. Этим страна обязана крепостному труду, ничтожности налогов на содержание администрации, правильной системе налогов. Экономическая близорукость и финансовая наивность Щербатова—феноменальны. Это типичный вельможа, увлекавшийся, повидимому, потемкинскими декорациями деревенского благосостояния, которые обильно подтасовывались царедворцами для удовольствия императрицы Екатерины Второй.

Тон офирской жизни и направление всей деятельности офирских граждан дает их «катехизис». Трудно себе представить что-либо более ничтожное, узкое и безыдейное.

Холодные и мелкие соображения, практические удобства и выгоды, соображения лицемерного 'благонравия и личной выгоды стоят на первом плане, все покрывает один великолепный тезис Щербатовского катехизиса: «делай, что хочешь, но втайне, за это наказания нет, но не приключай соблазна». Это уже сравнительно с гражданским пафосом и бичующими скорбными нотами «О повреждении нравов в России» — значительный шаг назад. Вообще эта утопия не создает лестного представления ни о России того века, ни о самом авторе.

Щербатовская утопия осталась незаконченной и, повидимому, в свое время неизвестной. Ее впервые напечатали спустя сто лет, а именно в 1896 году. Это не умаляет ее достоинств исторического свидетельства об Екатерининской России и идеологических настроениях тогдашнего передового дворянства. Появившись только в конце XIX века в печати, она все же привлекла внимание ряда писателей и публицистов. Об утопии Щербатова почти одновременно пишут: А. Н. Пыпин, В. А. Мякотин, профессор А. Кизеветтер, Н. Д. Чечулин. Первые три разбирают утопию с общественно-политической точки зрения, последний с историко-литературной.

Для нас анализ Чечулина интереснее. Этот исследователь ошибочно считает «Путешествие в землю Офирскую» — «социальным романом», являющимся «единственным известным пока оригинальным в русской литературе представителем произведений этого рода». В общем Чечулин смотрит на Щербатовскую утопию одобрительно ¹⁾.

В. А. Мякотин настроен совсем иначе, он считает «Путешествие» — «едва ли не самым слабым из трудов Щербатова и по силе обнаруженного в нем таланта, и по характеру содержания». «Наполовину памфлет, наполовину — идиллия, оно включает в себе слишком мало полета мысли для утопии и написано слишком бледными и тусклыми красками для того,

¹⁾ Чечулин, Н. Д. Русский социальный роман XVIII века. Спб. 1900 г.; 2-ое изд. Спб., тоже 1900 г.

чтобы иметь значение сатиры». Вообще «в этом произведении можно наблюдать то же соединение политического свободомыслия с узкосословным эгоизмом, столь характерное для Щербатова, соединявшего уроки западно-европейской теории с впечатлениями русской действительности в одно целое, но узкое мирозерцание».

Менее шаблонно и более вдумчиво судит проф. А. Кизеветтер, пытающийся добросовестно разобраться в утопии Щербатова и выделить из нее положительные элементы.

Пыпин, Мякотин и Кизеветтер рассматривают это произведение Щербатова с точки зрения политической и притом *прогрессивно-политической*. Н. Д. Чечулин, равнодушный к такого рода оценкам, интересуется утопией Щербатова с историко-литературной точки зрения.

Если подойти к Щербатовскому сочинению с точки зрения современной научной оценки, то первое, что бросается в глаза и всецело определяет его характер—это определенность последовательно проведенной чисто *классовой* точки зрения. Это утопия *крупного феодального землевладения*, притом осознавшего себя таковым. По-своему, Щербатовское произведение—создание исключительное в своем роде, так как западно-европейские утопии враждебны и к классу собственников, и к самому институту частной собственности. Коммунизм Щербатовым сознательно отвергается, и вместо него подставляется, хотя и несколько облагороженный с виду, но все же *существующий* социальный строй. Такая «утопия» вдвойне вредна, так как она подставляет в идеал зеркало плохой действительности. Только в политическом смысле утопия Щербатова — явление прогрессивное, как то и полагалось быть феодальной буржуазии.

Мыслящее русское общество того времени вообще было затронуто политическою мечтательностью, и русский роман второй половины XVIII века был тем литературным жанром, который ярче всего выразил эти мечты. Щербатов был далеко не одинок: его сочинение—вопреки мнению Чечулина,—было одно из многих в ту эпоху; оно только более выдержано и более других посвящено социально-политическим мотивам. В этом его историческая ценность.

6. Остальные утопии XVIII века.

Кроме «Офирии» Щербатова русский читатель в XVIII веке имел в своем распоряжении значительное количество утопий, русских и переводных. Оригинальных авторов можно указать около семи-восьми, переводных — не меньшее количество.

Как та, так и другая группа объединяются общим уклоном своего содержания: это не те социально-философские романы, ведущие свою родословную от Томаса Мора, которые ставили своей целью выяснение социальной правды, как Кампанелла; Веррас или Морелли, и поэтому, естественно, приходившие в своих утопических поучениях к коммунизму, а та плеяда полу-политических романов, цель которых была морально-политическое поучение, дидактика. Они выросли из того общественного настроения, которое ярко сказалось во Франции в конце царствования Людовика XV. «Богатое всевозможными опытами, это правление кончилось крахом. Объяснить причину этого краха пытались и проповедники, и писатели». Впереди других в этом смысле стоят аббат Фенелон и Монтескье, которых усердно переводят и охотно читают в России. К этой же группе относятся сочинения англичан Рамзая и Террасона, а также «Велизарий» Мармонтеля.

О моде на Фенелона и Монтескье можно судить по тому, что Фенелон появился в России в девяти изданиях, Монтескье в 4-х.

«Телемак» Фенелона содержит правоучение правителям и картинки благополучия стран, в которых следовали принципам этих поучений. Фенелон не свергает царей, а увещевает их. Он стремится им внушить, что лучший царь — раб своего народа. Особенно сильно Фенелон нападает на придворных — льстецов и лицемеров — и на дворцовую роскошь. Показной блеск двора разоряет государства. «Город процветает на счет деревни». «Истинное благосостояние не в блеске города, а в богатстве деревни». Не жалея слов на порицание «дурных» правителей, Фенелон не скупится на восхваление «хороших», помогающих разумно устроить счастливую жизнь своих подданных. Мораль Фенелона делала его книгу «настойною» при воспитании

принцев крови, которых мечтали сделать «просвещенными» правителями. Поэтому действительный социальный идеал показывался им как дальняя декорация в красивом апофеозе. Радикальные черты утопии служили только аксессуаром картины. «Утопия» вкрапливалась, как иллюстрация к поучительному тексту. Одна из таких «утопий», где граждане блаженствуют, заключается в следующем:

— «Не нужны им судьи. Дает им суд собственная совесть. *Все блага их общие*. Древесные плоды, земные произрастания, млеко от стад их составляет обильные богатства... Нет у них имуществ, которые бы должно было защищать от своих ближних. Они все взаимно любят братскою, ничем не возмущаемою любовью. Все они свободны, все равны». Другой пример критяне. Вот их утопия:

«Здравие, сила, мужество, тишина, союз дружбы между семействами, свобода всех граждан, избыток в вещах нужных, презрение излишеств, навык к трудам, омерзение к праздности, поревнование к добродетели, покорность законам и страх ко праведным богам—суть величайшие сокровища критян» ¹⁾.

Монтескье в «Персидских письмах», особенно в главе, где изложена «история троглодитов», описывает «золотой век» на земле.

Фенелон оказал сильное влияние на Михаила Хераскова, Монтескье на Лёвшина. Политическое и религиозное свободомыслие Монтескье совмещает с идеализацией минувшего патриархального быта, который рисуется ему олицетворением свободы и равенства. Поэтому особенно нравится его утопия, изложенная в «Истории троглодитов» (глава в «Персидских письмах»).

Кроме Фенелона и Монтескье на русских сочинителей оказали влияние Рамзай и Террасон, английские утописты, и Вольтер с Жан-Жаком Руссо.

Можно установить следующий список русских утопистов XVIII столетия.

¹⁾ Фенелон. Приключения Телемака, сына Улисса, русск. пер. Лубяновского. М. 1797 г., ч. I, стр. 136.

1. *Князь Михаил Михайлович Щербатов.*
2. *Михаил Матвеевич Херасков.*
3. *Павел Юрьевич Львов.*
4. *Федор Эмин.*
5. *Василий Алексеевич Лёвшин.*
6. *Михаил Дмитриевич Чулков.*
7. *Федор Иванович Дмитриев-Мамонов.*
8. *Одноворец Захарьин.*

Рассмотрим вкратце содержание утопий каждого из них.

1. Наиболее значительным после Щербатова был несомненно М. М. Херасков, несмотря на весь свой «ложно-классицизм» и подражательность выработавший черты оригинальной мысли.

Михаил Матвеевич Херасков (1733—1807) написал три утопии в духе Фенелона:

1. «*Нума или процветающий Рим*». Москва. 1768 ¹⁾).
2. «*Кадм и Гармония, древнее повествование*». М. 1786 ²⁾).
3. «*Поллidor, сын Кадма и Гармонии*». М. 1794 ³⁾).

Херасков, ссылаясь на Платона, стремится изобразить «благополучное состояние общества», причем тут же сам сознается, что это только «утопия», но «ежели нет благополучных обществ на земле, то пусть они хотя в книгах находятся и утешают наши мысли тем, что и мы современем можем учиниться счастливыми».

Херасков руссоист, но на тот особый русский лад восприятия Руссо, которое было свойственно русскому дворянству: из Руссо брали только сантиментальное влечение к сельской идиллии, восторженное влечение к природе и поэтизацию первобытного уклада жизни. Идеи общественного договора усвоились слабо, а эгалитаризм понимался лишь как равенство членов благородного шляхетства между собою. Поэтому и у Хераскова бледная политическая мечтательность сочеталась с экономическим варварством, в лучшем случае

¹⁾ 2-ое изд. М. 1793, 3-е изд. М. 1800.

²⁾ 2-ое изд. М. 1789. 3-ье изд. М. 1793. 4-ое изд. 1801. 5-ое изд. М. 1806.

³⁾ 2-ое изд. 1801. 3-ье изд. 1806. Подробное содержание изложено у В. Ситовского: *Очерки из истории русского романа*, т. I, вып. 1 Спб. 1909.

с социально экономическим индифферентизмом. Классовая утопия буржуазии не могла быть составлена иначе.

Для образца воззрений Хераскова возьмем содержание «Нумы».

«Нума» — простой римский землепашец. Неожиданно к нему в деревню являются из Рима вельможи с приглашением занять царский престол. Нума сначала отказывается, предпочитая скромное земледелие царскому венцу, но потом, переубежденный, — соглашается. Нимфа Егера, исполняя роль фенелоновского Ментора, дает ему ряд советов и указаний о надлежащих способах управления государством. Все это сводится к условным формам добродетели, и в итоге, Нума — мудрый правитель, приносящий счастье своему народу. Рецепт правления — обуздание вельмож и издание справедливых законов, основанных «на естестве» (т.-е. на идеях «естественного права»). Социальный реформизм отсутствует.

В том же духе второй роман Хераскова, «Кадм и Гармония», повествующий о царе Кадме, как «мудром» монархе и «друге» народа.

И тут под скипетром добродетельного и мудрого монарха прекрасно сохраняются и сословные рамки, и институт рабства. Благополучное состояние общества мыслится как результат монаршей добродетели и законов, основанных «на естестве». «Истинное блаженство человеческого рода, — патетически заявляет Херасков, — проистекает от благоразумных законов». В первых двух романах за монархизмом и рабовладением все же чувствуются какие-то общие политические симпатии к свободе. Но в третьем его романе «Полидор» политические симпатии Хераскова резко меняются. Это результат разочарования Великой Французской Революцией, увлекшего часть классового общества во главе с Екатериною в лагерь реакционеров. Если в первых двух романах, написанных Херасковым до Революции, чувствуется еще склонность к перевороту, то *после* Революции, в «Полидоре», Херасков уже энергично осуждает «насильников» и «вольнодумцев». Теперь он раздраженно величает «вольность» и «равенство» — «чудовищами».

II. Павел Юрьевич Львов (1770—1825) в II части «Российской Памелы» дает картинки патриархальной жизни, осно-

ванной на мудром политическом правлении, в итоге чего народ счастлив и благоденствует. По духу времени это, конечно, добрые и нравственные дикари, островитяне. Управление у них в руках народного собрания, вместо суда и наказания действует система «посрамления» провинившихся. Другая картинка дает описание страны, где люди живут в условиях *золотого* века, когда «еще приятная независимость царствовала во вселенной, когда безвинные утехы непорочных нравов цвели, как при благорастворенном воздухе и в объятиях тишины розы, когда не знал род человеческий имени «собственности».

«Нет там богачей и нищих, нет огорченных и обиженных», поясняет социальный итог утопической жизни автор.

Федор Эмин (1735—1770), «Кабинет-переводчик» императрицы Екатерины II, писатель, автор ряда романов, издатель журнала «Адская почта». Наиболее интересны следующие его романы, носящие утопический характер:

- 1) «*Непостоянная фортуна*».
- 2) «*Письма Эрнеста и Доравры*».
- 3) «*Приключения Фемистокла*» и разные политические, гражданские, философские, физические и военные его с сыном своим разговоры. Спб., 1763.

Эмин находится под влиянием Руссо, Локка и Фенелона. «Новая Элоиза» Руссо легла в основу его романа «Письма Эрнеста», Фенелон повлиял на приключения Фемистокла. Его герой, изгнанный из отечества, странствует со своим сыном Неоклом по разным странам, причем по поводу всего виденного делится с ним своими мыслями. В описании Кавказа, Персии и Фракии, сильно смахивающей на Россию, выдвигает чисто русские стороны жизни и поучает на свой собственный лад. Часто грубо модернизирует: фракийские кавалеристы носят шпоры. Примером характера его поучений является требование посылать в деревню попов («суеверных жрецов»), ибо «философия для простого мужика весьма бесполезна и ему нужно больше делать, нежели рассуждать».

Эмин проникнут публицистическим настроением, но экономические идеалы его сбивчивы. Как поклонник Руссо, он восхваляет земледелие и сельскую идиллию, как человек, по-

бывавший в Англии, он преклоняется перед английскою торговлею и купечеством. «Купечество, — уверяет Эмин, — душа государства и города, польза и украшение».

В этом он сильно напоминает свою покровительницу Екатерину II, которая в двух своих сочинениях «Antidote» (1770) и «Сказка о царевиче Хлоре» (1781), идеализировала сельский быт, а в «Наказе» подготавливала почву для развития торговли, в которой так же, как Эмин, видела процветание государства. И Эмин, и его высокая покровительница любили сатиру, но сатирический журнал Эмина «Адская почта» велся в ином духе, чем «Всякая всячина» Екатерины. Эмин примыкал к Новиковскому «Трутню», более общественно-настроенному органу, чем журнал императрицы.

Эмин выгодно отличается от Екатерины своим патриотизмом и симпатиями к угнетенному крестьянству.

V. *Василий Алексеевич Лёвшин* (1746—1826) пишет «*Новейшее путешествие, сочиненное в городе Белеве*», 1784 Лёвшин находится под сильным влиянием Монтескье. Его утопия, подобно утопии француза Сирано де Бержерака, помещается на Луне.

Здесь быт патриархален, без писанных законов и «самовластия» царей. Занятие жителей, живущих одною общиною в громадных общих зданиях, — земледелие и скотоводство. Недостатки и пороки лунных жителей типично земные — суестьность, лживость, суеверие и плутовство.

VI. *Михаил Дмитриевич Чулков* (1740—1793) в романе «Пересмешник». М. 1789, тоже изображает лунных жителей, живущих коммунистическим устройством. Но слова «коммунизм» у него не имеется, а туманно говорится, что у жителей Луны «все было общим». Чулков описывает также жизнь народа «дулебов», у которых при изобилии не было роскоши. Но здесь уже нет общности имущества, а сохранены все сословия и классы существующего общества. Только земледельцы особенно трудолюбивы, дворяне — выделяются «благородным поведением», судьи — своим «правосудием».

VII. Утопия *Федора Ивановича Дмитриева-Мамонова* (1728—1790) носит название «*Дворянин-философ*», аллегория. М. 1769, напечатана как приложение к переводу романа

Лафонтена «Любовь Псиши и Купидона». 2-е издание вышло в 1796 году в Смоленске.

Это скорее философская сатира, чем социальная утопия. Она изображает скитание жителя земли по планетам, т.-е. обратно тому, что делает Вольтер, когда житель планеты Сириус путешествовал по Земле. Автор рассматривает общие отношения людей между собою и судьбы человека на Земле. Замысел и форма трактования сюжета в духе Вольтера—это «Микромегас» на выворот. Хотя Дмитриев-Мамонов последовательный вольтерианец, но саркастическая веселость фернейского мудреца вытеснена безысходным пессимизмом. Русское вольтерианство—мрачно и безнадежно ¹⁾.

Я привел только более значительные русские произведения утопического характера с более определенно выраженным настроением. В ту эпоху появлялись и другие менее характерные произведения этого рода. Сиповский насчитывает до двух десятков романов с политическим и социально-философским содержанием.

¹⁾ Содержание этой «аллегории» приведено разыскавшим ее В. В. Сиповским: «Очерки из истории русского романа», т. I, вып. I (XVIII в.). Спб. 1909.

Глава IV.

ПЕРЕВОДНЫЕ УТОПИИ.

В том же XVIII веке в России начали появляться переводные романы, а среди них и утопии. Первоначально переводили мало. Екатерининская эпоха как бы сразу открыла подземный фонтан. В то время, когда с начала XVIII века за первые шесть десятилетий едва появилось около полутора десятка переводов, в царствование Екатерины их вышло, по подсчету Н. Белозерской, около 540 ¹⁾.

Европейская утопическая литература в переводах появляется у нас с сороковых годов XVIII века.

Первым по времени, — а мы рассматриваем их здесь в порядке хронологического появления их в России, — переводится у нас «Телемак» наиболее популярного в России утописта — в 1747 году. Это произведение ²⁾ было издано в течение XVIII века девять раз в пяти разных переводах ³⁾.

Вторым утопистом, ставшим известным русскому читателю, был Джон Берклей, автор «Аргениды», изданной по-рус-

¹⁾ См. монографию Н. А. Белозерской «В. Н. Нарезный». Спб., 1896, изд. 2-е, ч. I, стр. 32.

²⁾ Утопия «Les aventures de Télémaque, fils d'Ulysse», 1698, была составлена архиепископом Франсуа де Салиньяк де ла Мот де Фенелоном в назидание его воспитаннику внуку Людовика XIV — герцогу Бургонскому и скорее принадлежит к типу дидактических *политических* романов.

³⁾ По подсчету В. В. Сиповского: «Очерки по истории русского романа», т. I, в. I (XVIII в.). Спб., 1909, стр. 153. Перевод 1747 г. озаглавлен «Похождения Телемака, сына Улисса».

ски в 1751 г. ¹⁾). Затем следовали переводы «Утопии» *Томаса Мора* ²⁾), повидимому, недошедшие до широких слоев читателей. Потом идет *Рамзай* ³⁾).

Таким образом русский читатель второй полов. XVIII в. мог в полной мере ознакомиться по-русски с произведениями европейской утопической литературы. Если добавить к этому ранее отмеченное значительное число произведений того же типа, написанных по-русски, то нельзя не признать, библиотека утопизма получается вполне приличная и во всяком случае более богатая, чем та, которою мог располагать читатель в следующем столетии.

Несколько раньше появилась утопия *Гольберга* ⁴⁾), а через одиннадцать лет утопия *Галлера* ⁵⁾), затем еще раз переиздававшаяся.

¹⁾ *John Barclay: Argenis figuris aeneis etc.* 1611.

²⁾ *Томаса Мориса*. «Картина всевозможного лучшего правления или Утопия», в 2 ч., перев. с французского. Спб., 1789. *Томаса Мориса*: «Философа Рафаила Гитлода странствование в Новом Свете и описание любопытства достойных примечаний и благоразумных установлений жизни миролюбивого острова Утопии», перев. с английского. Спб., 1790.

³⁾ *Рамзай*: «Новое Киронаставление, или путешествие Кира, с изложенными разговорами о богословии и баснотворчестве древних», с франц. пер. *Абраам Волков*, 2 ч. М. 1765. 2-е издание исправленное по английскому подлиннику под заглавием: «Новая Киропедия». М. 1785 и 3-е издание. М. 1820.

⁴⁾ *Гольберг*: «Николая Клима подземное путешествие». Спб. 1762 (*Holberg: «Nic. Klimi inter Subterraneum»*. 1741).

⁵⁾ *Галлер*: «Плоды трудов прозаических сочинений». Спб., 1783—84, 2-е изд. в 1793 г. Здесь объединены в одном издании оба романа Галлера (*Haller*) «*Usong*», 1771 и «*Alfred*», 1774.

Глава V.

УТОПИИ XIX и XX В.В.

1. Ф. Булгарин; Вельтман, кн. В. Ф. Одоевский.

Перегородки между столетиями не всегда совпадают с календарными датами. Так, первая четверть 19 века по своему типу и духу ближе к 18 столетию. Новый век начинается с подавления восстания декабристов и длится до февральской революции 1917 года. Это одно сплошное по однообразию бескрасочное время. И надо удивляться силе творчества, которая при однотонной серой мути находила возможность выявиться. Она развивается обратно пропорционально политической реакции, оправдывая слова: «чем ночь темней, тем звезды ярче». Наивысшего напряжения утопизм достигает к концу сороковых годов в лице князя Одоевского и Бутаевича-Петрашевского.

Идеалист Одоевский—представитель отечественной утопии, наиболее фантастическая утопия Запада—фурьеризм—воплотилась в Петрашевском. Им предшествуют свои подготовительные течения.

Нить отечественной утопии как бы обрывается отечественной войной. Активные элементы после войны, вернувшись на родину, стремятся осуществить свою политическую утопию, так безжалостно смятую на Сенатской площади организационным неведением и пушками Николая.

Реакционные элементы, чуждаясь жизни, забавляются мечтательством. В год, когда северный и южный центры декабристов уже замышляют активное выступление, талантливый мракобес и вдохновитель реакции Фадей Булгарин пишет свою утопию, навеянную руссоистом Луи Себастьяном Мерсье

и плоским немецким утопистом Юлием фон Фоссом, в чем он и сам сознается.

Фадей Венедиктович Булгарин (1789—1859 г.г.), издатель «Северной Пчелы», был плодовитым журналистом. В 1824 г. он сочинил «*Правдоподобные небылицы* или странствования по свету в двадцать девятом веке», напечатанные в «Литературных листках» в том же году.

«Небылицы» изложены в виде диалога между автором («я») и «профессором», уверенным, что «человечество беспрестанно стремится к совершенствованию в нравственном отношении».

Действие происходит в монархическом и православном городе «Надежине» в Сибири в 2824 году. Центром внимания автора являются технические изобретения будущего и расцвет наук. Общественные нравы и учреждения рассматриваются только с точки зрения «человеколюбия и прав собственности». Социальный элемент отсутствует. Из Сибири автор попадает в г. «Пирри»—«столицу Полярной Империи», где тоже высокоразвитая техника и полный расцвет науки совмещается с консервативными устоями жизни. Председатель Полярной Академии и самоедский принц ведут добродетельные с точки зрения прописной морали и Управы благочиния разговоры. Утопия Булгарина читается с трудом и без интереса, она и прошла, повидимому, совершенно незамеченной как читающей публикой, так и литературной критикой.

В тридцатых годах выступил литератор *Вельтман*, (1800—1870), которого за его роман «3448 год» причислили к русским утопистам. Роман «3448 год, рукопись Мартына Задеки», появился в Москве в 1833 г. и вызвал отзывы в «Молве» (1834 г.) и «Московск. Телеграфе». Здесь характер утопии носит только одно заглавие, повидимому, и смутившее историка русской литературы Сакулина, который ошибочно отнес «Мартына Задеку» к числу утопий. Между тем, это вульгарная мелодраматическая фантазия из быта царей и пиратов, неопределенная по месту и времени, ни в какой мере к утопиям не относящаяся.

Начало 40-х годов совпадает с расцветом литературной деятельности князя Владимира Федоровича Одоевского, одного

из выдающихся русских писателей 40-х годов, которого высоко ценили и Пушкин, и Белинский, да и все русское общество. Его мировоззрение и руководящие идеи его творчества внимательно и любовно изучил недавно проф. Сакулин в обстоятельной монографии ¹⁾.

«4338 год, Петербургские письма» кн. Одоевского напечатаны в «Утренней Заре», альманахе на 1840 год, изданном В. Владиславлевым (второй год).

В пяти письмах попавший якобы в 4338 году в Петербург студент-китаец Цунгиев посылает в Пекин своему школьному товарищу описание Петербурга «центра русского полушария и просвещения». Воздухоплавание и ряд других технических усовершенствований, как, напр., система государственных теплогранилиц с системою труб,—в полном разгаре. Россия в центре просвещения и всемирной моды, которая захватила все страны, не исключая Китая. У китайцев—все «на русский манер: и платье, и обычаи, и литература». На берегах Невы величайший и редчайший музей с зоологическими и ботаническими садами, громадным аквариумом и собраниями всяких редкостей, библиотекой и лабораториями. Одоевский стоит на высоте европейской науки и литературы. Он основательно знаком с лучшими ее образцами и живо интересуется важнейшими проблемами. Он пришел подготовленный школою «любомудров», сыгравшею такую видную роль в русском развитии 20-х годов. Отсюда его проникновенное знание отца идеалистов и родоначальника социализма Платона. Отсюда и склонность его к новаторству и мессиянству. Гете, Жан Поль Рихтер и Гофман были сродни по духу Одоевскому ²⁾.

Утопия Одоевского—заключительная часть трилогии, оставшейся в набросках. Она описывает Россию в 44 веке. Содержание утопии не заимствовано, если не считать заглавия, ведущего начало от утопии Мерсье «2440 год» (*L'an 2440, rêve s'il en fut jamais*, 1771). Написана она в спокойных и свет-

¹⁾ П. Н. Сакулин. Из истории русского идеализма. Кн. В. Ф. Одоевский, т. I, М. 1913 г.

²⁾ Проф. Н. Ф. Сумцов: князь В. Одоевский, Харьков, 1884 г. То же утверждают и Сакулин и Скабичевский (Сочин. т. I).

лых тонах, полна веры в будущее России и одушевлена надеждою, что Россия станет современем центром мирового просвещения. Центром интереса и внимания является идея культурного значения просвещения. Просвещение, по Одоевскому, это центральный рычаг прогресса, причем социальной и политической стороной жизни Одоевский не интересуется, вся сила внимания направлена на развитие науки и техники. Будущее рисуется нашему автору, как «полная победа человека над природой».

Прогресс человечества выразится почти исключительно в успехах науки. В этом смысле произведение Одоевского похоже на романы Жюль Верна. Изобретения и открытия в области точных наук его особенно интересуют. Авиация, магнетизм, цветная фотография—вот пища для его фантазии. Даже создание своей утопии Одоевский объясняет видением будущего в состоянии сомнамбулизма, которым в те годы начали увлекаться.

В 44 столетии земной шар разделится на две части между Россией и Китаем, причем преобладать будет первая, которая станет центром всемирного просвещения. Это создастся в силу высокой организации науки, которая впервые синтезируется.

Для достижения этого объединения, столь важного для дальнейшего развития науки, организована особая система кооперации ученых и поэтов, философов и естествоиспытателей, создающая возможность необычайного творчества и продуктивности. «Это единство направления ученой деятельности,—рассказывается в утопии,—принесло обществу плоды невероятные; явились открытия неожиданные, усовершенствования почти сверхъестественные». Все ученые образуют «Постоянный Ученый Конгресс», имеющий общие, почти ежедневные собрания и распадающийся на несколько академий по специальностям. В распоряжении ученых—ряд вспомогательных учреждений, образующих целый город, здесь целый конгломерат богатейших музеев и лабораторий, зоологических и ботанических садов и прочее.

Наука пользуется всеобщим уважением и не только общедоступна, но входит в плоть и кровь гражданственности. Для

того, чтобы выдвинуться в обществе или приобрести благосклонное внимание девушки, молодой человек должен ознаменовать себя «важным открытием в какой-либо отрасли познания», до чего он считается «недорослем». В итоге прогресса науки человечество приобретает почти полную власть над природой. С помощью сложной системы теплохранилищ, устроенных на экваторе со станциями в каждом городе русского государства, русские сумели видоизменить суровый климат северного полушария. Огнедышащие горы холодной Камчатки превращены в постоянные горны для нагревания Сибири. Успехи химии позволяют нагревать и расхолаживать атмосферический воздух, а особые гигантские вентиляторы изменяют направление ветров и метелей. Наука и техника доходят до такого высокого совершенства, что русским ученым удастся предотвратить мировую катастрофу — столкновение земли с кометой Бизля, а также установить прочное сообщение с Луной.

Способы сообщения в корень изменились, лошади выродились до размера комнатных собачек, железные дороги исчезли. Ездят на электроходах и различного типа аэростатах.

«Люди избороздили землю туннелями, по которым с быстротою молнии движутся электроходы. Ипполит Цунгиев мчится сквозь Гималайский и Каспийский туннели. Седой Каспий шумит над его головой. «Теперь, теперь,—слушай и ужасайся!»—продолжает он описывать свое путешествие по России;—«я сажусь в русский гальваностат!»

Увидев эти воздушные корабли, признаюсь, я забыл и увещание деда Орля, и собственную опасность, и все наши понятия об этом предмете. Воля твоя—летать по воздуху есть врожденное чувство человека. Конечно, наше правительство поступило основательно, запретив плавание по воздуху; в состоянии нашего просвещения еще рано было нам и помышлять об этом; несчастные случаи, стоившие жизни десяткам тысяч людей, доказывают необходимость решительной меры, принятой нашим правительством. Но в России совсем другое; если бы ты видел, с какою усмешкою русские выслушивали мои опасения, мои вопросы о предосторожностях... Они меня не понимали! Они так верят в силу науки и в собственную бодрость

духа, что для них летать по воздуху то же, что нам ездить по железной дороге».

Гальваностат («воздушный шар, приводимый в движение гальванизмом») или аэростат подлетает к «платформе высокой башни, находившейся над гостиницей для прилетающих». Почтальон закидывает несколько крюков к кольцам платформы, спускает лестницу, пассажир сходит на платформу, дергает за шнурок и вместе с платформой тихо опускается в общую залу гостиницы.

Жилища в 44-м веке будут верхом роскоши и комфорта. Разные технические усовершенствования превратят дома в мир чудес. «На богатых домах», описывает Цунгиев, «крыши все хрустальные, или крыты хрустальной же белой черепицей, а имя хозяина сделано из цветных хрусталей. Ночью, когда дома освещены внутри, эти блестящие ряды кровель представляют волшебный вид; сверх того, сие обыкновение очень полезно — не так, как у нас, в Пекине, где ночью сверху никак не узнаешь дома своего знакомого, — надобно спускаться на землю».

Рассказчик ведет нас в дом первого министра. У него «прекрасный крытый сад, который служил министру приемною. Весь сад, засаженный редкими растениями, освещался прекрасно сделанным электрическим снарядом, в виде солнца. Мне сказали, что оно не только освещает, но химически действует на деревья и кустарники; в самом деле, никогда мне не случилось видеть такой роскошной растительности». Виртуоз-садовник путем скрещивания умел выращивать самые причудливые виды плодов. Одежду носят из «эластического стекла», из «тонкого паутинового сукна» и других оригинальных тканей. «Дамы были одеты великолепно, большею частью в платья из эластического хрусталя разных цветов; по иным струились все отливы радуги, у других в ткани были заплавлены разные металлические кристаллизации, редкие растения, бабочки, блестящие жуки. У одной из фешionaбельных дам в фестонах платья были даже живые, светящиеся мошки, которые в темных аллеях, при движении, производили ослепительный блеск; такое платье, как говорили, здесь стоит очень дорого, и может быть надето только один раз, ибо насекомья

скоро умирают». Так как ждали появления кометы, то «некоторые из дам носили уборки à la comète; они состояли в маленьком электрическом снаряде, из которого сыпались беспрестанные искры. Я заметил, как эти дамы из кокетства старались чаще уходить в тень, чтобы пощеголять прекрасною электрическою кистью, изображавшею хвост кометы, и которая как бы блестящим пером украшала их волосы, придавая лицу особенный оттенок». Пища также совершенно не похожа на современную. Путешественник, только что прибывший на гальваностате, заказывает себе такой обед: «Дайте мне хорошую порцию крахмального экстракта на спаржевой эссенции; порцию сгущенного азота à la fleur d'orange, ананасной эссенции и добрую бутылку углекислого газа с водородом...». Между тем к эластическому дивану на золотых жердях опустили с потолка опрятный стол из резного рубина, накрыли скатертью из эластического стекла; под рубиновыми колпаками поставили питательные эссенции, а кислородный газ в рубиновых же бутылках с золотыми кранами, которые оканчивались длинною трубкою». Цунгиев видел в саду первого министра небольшие графины с золотыми кранами; гости брали эти графины, отворяли краны и втягивали в себя содержащуюся в них ароматную смесь возбуждающих газов. «Эти газы совершенно безвредны, и их употребление очень одобряется медиками; этим воздушным напитком здесь в высшем обществе совершенно заменились вина, которые употребляются только простыми ремесленниками, никак не решающимися оставить своей грубой влаги». К услугам людей будут «магнетические телеграфы, посредством которых живущие на далеком расстоянии разговаривают друг с другом», цветная фотография, стеклянный папирус взамен теперешней писчей бумаги. Будут устроены «часы из запахов», так что станут говорить: «час кактуса, час фиалки, резеды, жасмина, розы, гелиотропа, гвоздики, мускуса, ангелики, уксуса, эфира».

Общественные развлечения изменят свой характер. Театр, как устарелая форма, отмирает, роль музыки усиливается, появляются совсем новые формы наслаждений: «магнетическая ванна», приводящая людей к излишней откровенности, скры-

тая музыка» и пр. Соответственно всему изложенному, изменяются и образ жизни и обычаи.

Социальный строй в утопии Одоевского далек от демократизма и какого бы то ни было равенства.

«Вся утонченная роскошь, все материальные блага, все завоевания науки» — идут на улучшение быта немногих «счастливых». Социальная дифференциация осталась, труд не стал обязательным, праздность не упразднилась.

Политическая организация страны монархическая, но монарх это «первый поэт страны». Ему помогает ряд министров, из которых важнейший «министр примирений». Это первый сановник империи, причем должность его наиболее трудная. Под его ведением находятся «мировые судьи», компетенция которых особенно обширна, вплоть до вмешательства в мельчайшие семейные дела ¹⁾).

Таким образом, утопия Одоевского лишена социально-политического элемента, который дает содержание всякой утопии.

Это не могли не видеть исследователи. Лучше всех изучивший Одоевского Сакулин так и характеризует утопизм. «В противоположность французской «Русская Икарія», — как неверно именуется «4338 год» Сакулин, — почти совершенно обходит социальный и политический вопросы. Если не считать «Коммунистического меню» (в столовых), основанного на правилах настоящей нравственной математики, то в общественном и политическом отношениях Россия 44 столетия Одоевского ничем существенным не разнится от России тридцатых годов XIX в.». Одоевский сам предчувствовал обыденность своей утопии и как бы оправдывался замечанием, что «люди всегда останутся людьми, как это было с начала мира». Изменяются только «формы мыслей и чувств», а в особенности «физический быт».

Итак, «воображение Одоевского не слишком далеко унесло его за пределы Николаевского государства». Его идеальная

¹⁾ Многие из приведенных деталей отсутствуют в напечатанном в 1840 году отрывке и впервые опубликованы Сакулиным, как выборки из сохранившихся тетрадей кн. В. Ф. Одоевского.

Россия сохраняет в полной неприкосновенности классовый принцип, существующее неравенство, бюрократическую организацию и монархизм. Николаевская Россия более всего была способна создать именно *бюрократическую* утопию, утопию без социальных реформ и без народа, как главного агента истории»¹⁾.

Такова была утопия одного из лучших и возвышеннейших русских *идеалистов*. Идеалистическое мировоззрение вообще оказалось глухо к страданиям дня, к тяжкому быту народа, ко всей царившей социальной и политической неправде. Оно ничего реального не видело и потому ничего реального и не дало.

Иной уклон получился после проникновения в Россию материалистических тенденций. Они еще были тесно связаны с утопизмом.

2. Н. Г. Чернышевский.

Утопизм теперь вспыхивает с новою силою в сочинениях *Н. Г. Чернышевского*; это был утопизм в лучшем и широком смысле этого слова, философски и экономически обоснованный. Г. В. Плеханов в своем капитальном труде о Чернышевском вскрыл и точно определил сущность и границы «социализма» Чернышевского²⁾. Он доказал, что мы имеем здесь дело с *утопизмом* и притом в той его постановке, которую он получил в Европе в самый канун выявления марксизма. Этот этап был, как известно, уже настолько родственен и близок к воззрениям Маркса и Энгельса, что некоторые склонны были признавать Чернышевского переходною ступенью между утопическим социализмом и научным³⁾ или даже отрицать наличность утопизма⁴⁾.

¹⁾ *Сакулин, П.* Из истории русского идеализма. Том I, ч. II. М. 1913, стр. 200.

²⁾ *Плеханов, Г. В.* Н. Г. Чернышевский, СПб. 1910.

³⁾ *Стеклов Ю. М.* Н. Г. Чернышевский, его жизнь и деятельность, (1828—1889) СПб. 1909.

⁴⁾ *Иванов-Разумник.* История русской общественной мысли, 2 изд. Том II.

«Мысль Чернышевского,—говорит Плеханов,—еще не вышла за пределы утопического социализма, хотя в этих пределах она обнаружила громадную ясность, смелость и критическую силу».

К кому из западных утопистов был ближе всего Чернышевский? Сен-Симон и сенсимонизм был чужд нашему писателю. В одной из своих статей о «менильмонтанском семействе» Чернышевский почти осудил сенсимонизм. В своем романе «Что делать?» из «жизни новых людей» (1863 г.) в главе «Четвертый сон Веры Павловны» Чернышевский симпатичными красками рисует опозитизированный им фаланстер Фурье, но все же сам автор не фурьерист. Ему ближе всего идеи третьего великого утописта англичанина Роберта Оуэна, а также Луи-Блановские идеи «организации труда» при помощи ассоциации производителей ¹⁾.

Вере Павловне снится судьба женщины в виде аллегорических фигур Астарты, Афродиты, Непорочной Девы, новой Элоизы. Ряд символических женских силуэтов проплывает перед нею, выясняя каждая смысл своей жизни. Каждый новый образ—шаг в смысле улучшения положения женщины и новый этап в деле ее духовного возвышения. Последняя ступень—женщина в коммунистическом строе, женщина фаланстера.

Вот во сне и самый фаланстер.

«Здание, громадное, громадное здание, каких теперь лишь по несколько в самых больших столицах,—или нет, теперь ни одного такого! Оно стоит среди нив и лугов, садов и роц. Нивы—это наши хлеба, только не такие, как у нас, а густые, густые, изобильные, изобильные. Неужели это пшеница? Кто ж видел такие колосья? Кто ж видел такие зерна? Только в оранжерее можно бы теперь вырастить такие колосья с такими зернами. Поля, это наши поля; но такие цветы теперь

¹⁾ «По характеру своего ума, преобладающей чертой которого являлась рассудочность, Чернышевский более склонен был сочувствовать тем из великих основателей социалистических систем, которые меньше поддавались увлечениям фантазии. Так, например, Роберт Оуэн был, несомненно, ближе к нему, нежели Фурье». *Плеханов*. Н. Г. Чернышевский, СПб. 1910, стр. 302.

только в цветниках у нас. Сады, лимонные и апельсиновые деревья, персики и абрикосы,—как же они растут на открытом воздухе? О, да это колонны вокруг них, это они открыты на лето; да, это оранжереи, раскрывающиеся на лето. Рощи—это наши рощи: дуб и липа, клен и вяз,—да, рощи те же, как и теперь; за ними очень заботливый уход, нет в них ни одного больного дерева, но рощи те же—только они остались те же, как теперь. Но это здание,—что ж это, какой оно архитектуры? теперь нет такой; нет, уж есть один намек на нее,—дворец, который стоит на Сайденгамском холме: чугун и стекло, чугун и стекло—только. Нет, не только: это лишь оболочка здания, это его наружные стены; а там внутри уж настоящий дом, громаднейший дом: он покрыт этим чугунно-хрустальным зданием, как футляром; оно образует вокруг него широкие галереи по всем этажам. Какая легкая архитектура этого внутреннего дома, какие маленькие простенки между окнами,—а окна огромные, широкие, во всю вышину этажей! его каменные стены—будто ряд пилястров, составляющих раму для окон, которые выходят на галерею. Но какие это полы и потолки? Из чего эти двери и рамы окон? Что это такое? серебро? платина? да и мебель почти вся такая же,—мебель из дерева тут лишь каприз, она только для разнообразия, но из чего же вся остальная мебель, потолки и полы? Эта металлическая мебель легче нашей ореховой. Но что ж это за металл? Ах, знаю, это алюминий ...он рано или поздно заменит собою дерево, может быть, и камень. Но как же это все богато! везде алюминий и алюминий, и все промежутки окон одеты огромными зеркалами. И какие ковры на полу! Вот в этом зале половина пола открыта, тут и видно, что он из алюминия. Повсюду южные деревья и цветы; весь дом—громадный зимний сад...

По нивам рассеяны группы людей; везде мужчины и женщины, старики, молодые и дети, все вместе. Но больше молодых; стариков мало, старух еще меньше, детей больше, чем стариков, но все-таки не очень много. Больше половины детей осталось дома заниматься хозяйством; они делают почти все по хозяйству, они очень любят это; с ними несколько старух. А стариков и старух очень мало потому, что здесь

очень поздно становятся ими, здесь здоровая и спокойная жизнь; она сохраняет свежесть. «Группы, работающие на нивах, почти все поют; но какой работой они заняты? Ах, это они убирают хлеб. Как быстро идет у них работа! Но еще бы не идти ей быстро, и еще бы не петь им! Почти все делают за них машины,—и жнут, и вяжут снопы, и отвозят их,—люди почти только ходят, ездят, управляют машинами; и как они удобно устроили себе; день зноен, но им, конечно, ничего: над тою частью нивы, где они работают, раскинут огромный полог; как подвигается работа, подвигается и он,—как они устроили себе прохладу! Еще бы им не быстро и не весело работать, еще бы им не петь!..»

Но вот работа кончена, все идут к зданию. Войдем опять в зал, посмотрим, как они будут обедать... Они входят в самый большой из огромных зал. Половина его занята столами,—столы уж накрыты,—сколько их! Сколько же тут будет обедающих? да человек тысяча или больше... «здесь не все; кому угодно, обедают особо у себя»; те старухи, старики, дети, которые не выходили в поле, приготовили все это; готовить кушанье, заниматься хозяйством, прибирать в комнатах,—это легкая работа, которою следует заниматься тем, кто еще не может или уже не может делать ничего другого». Великолепная сервировка: все алюминий да хрусталь; по средней полосе широких столов расставлены вазы с цветами, блюда уж на столе, вошли работающие, все садятся за обед, и они, и готовившие обед. А кто же будет прислуживать? Когда? во время стола? зачем? Ведь всего пять-шесть блюд: те, которые должны быть горячие, поставлены на таких местах, что не остынут; видишь в углублениях,—это ящики с кипятком; поданный обед—это обыкновенный; кому угодно, тот имеет лучше, какой угодно, но тогда особый расчет; а кто не требует себе особенного против того, что делается для всех, с тем нет никакого расчета. И все так: то, что могут по средствам своей компании все, за то нет расчетов; за каждую особую вещь или прихоть,—расчет».

«Дом в центре бывшей пустыни; а теперь все пространство уже обращено в благодатнейшую землю, такую же, какою была когда-то и опять стала теперь та полоса по морю

на север от нее, про которую говорилось в старину, что она «кипит молоком и медом». Некоторые работают в других странах: всем и много места, и довольно работы, и просторно, и обильно.

Фаланстеры—громadne здания, в трех, в четырех верстах друг от друга, будто бесчисленные громadne шахматы на исполинской шахматце. «Спустимся к одному из них. Такой же хрустальный громадный дом, но колонны его белые. Они потому из алюминия, что ведь здесь очень тепло, белое меньше разгорячается на солнце, это несколько дороже чугуна, но по здешнему удобнее». Но вот, что они еще придумали: на дальнее расстояние кругом хрустального дворца идут ряды тонких, чрезвычайно высоких столбов, и на них, высоко над дворцом, над всем дворцом и на полверсты кругом него, растянута белая полог. «Он постоянно обрызгивается водой:—видишь, из каждой колонны подымается выше полога маленький фонтан, разлетающийся дождем вокруг, поэтому жить здесь прохладно, ты видишь, они изменяют температуру, как хотят».—А кому нравится зной и яркое здешнее солнце. «Ты видишь вдали есть павильоны и шатры. Каждый может жить, как ему угодно».—Значит, остались города для тех, кому нравится в городах. Не очень много таких людей, городов осталось меньше прежнего,—почти только для того, чтобы быть центрами сношений и перевозки товаров, у лучших гаваней и в других центрах сообщений. Эти города больше и великолепнее прежних: все туда ездят на несколько дней для разнообразия, большая часть их жителей беспрестанно меняется, бывает там для труда, на недолгое время»...

Опять такой же громаднейший, великолепнейший зал. Вечер в полном своем просторе и весельи прошел; уж три часа после заката солнца: самая пора веселья... Как ярко освещен зал, чем же?—Нигде не видно ни канделябров, ни люстр: ах, вот что,—в куполе зала большая площадка из матового стекла, через нее льется свет;—конечно, такой он и должен быть: совершенно, как солнечный, белый, яркий и мягкий,—ну, да это электрическое освещение. В зале около тысячи человек народа, но в ней свободно могло бы быть втрое больше. И когда приезжают гости, бывает и больше...

Это не бал, а простой будничный вечер... У них крепкие нервы, способные выдержать много веселья... Счастливые люди!

Такие люди могут вполне веселиться и узнать весь восторг наслаждения... Как они цветут здоровьем и силою, как стройны и грациозны они, как энергичны и выразительны их черты. Все они, счастливые красавцы и красавицы, ведут вольную жизнь труда и наслаждения... Шумно веселится в громадном зале половина их, а где же другая половина?..

Они везде: многие в театре, одни актерами, другие музыкантами, третьи зрителями,—как нравится кому. Иные рассеялись по аудиториям, музеям, сидят в библиотеке, иные в аллеях сада, иные в своих комнатах, или чтоб отдохнуть наедине или со своими детьми, но больше, больше всего—это моя тайна...

...Вы видели, в зале, как горят щеки, как блистают глаза... Вы видели—они уходили, они приходили... Они уходили,—это я (любовь) увлекала их; здесь комната каждого и каждой—мой уют, в них мои тайны ненарушимы, занавеси дверей, роскошные ковры, поглощают звук; там тишина, там тайна...

...Они возвращались,—это я возвращала их из царства моих тайн, на легкое веселье. Здесь царствую я (любовь). Я царствую здесь. Здесь все для меня. Труд—заготовление свежести чувств и сил для меня, веселье—приготовление ко мне, отдых после меня. Здесь я—цель жизни, здесь я—вся жизнь»...

Таково опозитизированное описание фаланстера. Сам Чернышевский не был фурьеристом, это течение в шестидесятых годах уже прошло, уступив место увлечению организацией ассоциаций.

Фурьеристский вариант утопизма распространялся в России в дни революции 1848 г. Петроградская интеллигенция была увлечена пропагандою наиболее за нее пострадавшего Мих. Вас. Буташевича-Петрашевского. Трагическая судьба «петрашевцев» общеизвестна. Они не оставили литературного выражения своих идей. «Карманный словарь» Кириллова—единственное литературное произведение Петрашевского—сухое дидактическое произведение. Зато глава группы,—сам Петрашевский,—сделал попытку устроить в своем имении первый

русский фаланстер. Попытка окончилась полной неудачей. В ночь перехода крепостных Петрашевского в новое коммунистическое жилище крестьяне сожгли строение.

3. «Красная Звезда» А. А. Богданова.

Шестидесятыми годами заканчивается период развития европейского утопизма. С середины семидесятых годов проникают новые марксистские идеи, а под влиянием общих условий общественное движение становится революционным и политическим. Новое движение уже чуждо утопизму. Русские революционеры с середины 70-х годов переходят к борьбе, к делу, к активности. Это уже был разрыв с утопизмом и подготовка почвы для идеалов научного социализма. Оставалось только строже провести программу Маркса и Энгельса, превратив ее в боевой лозунг. Это и сделала «Группа освобождения труда» в начале 80-х годов во главе с Г. В. Плехановым. Из народнического революционного движения выделилась чисто марксистская группа, заложившая фундамент русской социалдемократии. Это было равносильно полной идейной ликвидации утопизма. Утопии остались только как занимательное беллетристическое чтение.

Тот же характер получила и появившаяся, кажется впервые в 1905 году, утопия А. А. Богданова «Красная Звезда» и прошедшая совершенно незамеченною. В отличие от предшествовавших ей русских утопий «Красная Звезда» — утопия *социалистическая*, но, как и все русские утопии, чуждая трактовки социального сюжета. Как всегда в России — вопросы морали и техники стоят на первом плане. Написанная в мягких акварельных тонах, утопия Богданова рассказывает о первых попытках жителей Марса переселиться на планету «Земля», где они рассчитывают найти больший для себя простор. Вопрос о технике переезда и анализ создающихся отношений занимает центральное место в книжке, переизданной в 1918 году ¹⁾, и также мало обращает на себя внимание и

¹⁾ Ее продолжением является вторая утопия А. Богданова: «Инженер Менни», 1919. Обе утопии Богданова интересны сами по себе, но в них не чувствуется, что они созданы в грозные дни социального урагана. Отсюда безличность и неопределенность этих произведений.

критики и рабочих кругов, хотя последние были отчасти подготовлены к ее восприятию изданием в переработке Николаева утопии Беллами, охотно читавшейся в рабочих кварталах Петербурга перед войною 1914 года.

Канун обеих русских революций—малой 1905/6 г.г. или «генеральной репетиции» и Великой—обошелся поэтому без утопий. Так не оправдалось обычное определение утопий, как «буревестников истории» и герольдов, возвещающих наступление новой эры. Катастрофический революционный ураган пронесся над страной без захватывающей красоты утопий.

Между тем, утопическая дымка скрашивает суровую серость обыденной жизни.

«Если к правде святой мир дороги найти не сумеет, честь безумцу, который навеет человечеству сон золотой»...

Иступленным безумцем была вся страна, ее беднота и пролетариат, ее героические вожди, полные пламени и воли, перед удивленным взором всего мира творившие утопию в жизни. В кровавом тумане раскрывались жемчужные дали новых социальных горизонтов. В борьбе и муке, в слезах, в крови и проклятиях рождалась новая правда. И только тот, кто забудет ужас жизни и, духовно высоко поднявшись, оглянется назад, с объективных высот истории на Великую Русскую Революцию, столь утопическую и столь глубоконациональную, поймет все величие революционной грезы. Русская действительность, серая и безнадежная, впервые прорезана острыми контурами первой величественной утопии новейшей истории—утопии новой социальной жизни. И неважно, что сказка будущего остается недосказанной, неважно, что ее, быть может надолго, окутал туман мещанской прозы: важно то, что она была высказана, намечена и поставлена. Русская «утопия»—этап в мировом развитии, незабываемый и неизгладимый. В этом ее ценность, заслуга и поучительность.

ЛИТЕРАТУРА.

1. Сиповский, В. В.—Из истории русского романа, т. I. СПб. 1909.
2. Чечулин, Н. Д.—Русский социальный роман XVIII века, в Ж. М. Н. Пр., за 1900 г., кн. I и отдельно, 1 изд. СПб., 1900, 53 стр.; 2 изд. СПб., 1900, 69 стр. (о Щербатове).
3. Кизеветтер, А.—«Русская утопия XVIII в.». Статья в сборнике: «Помощь», 2 изд., 1903. Перепечатана в его «Исторических Очерках». М. 1912.
4. Мякотин, В. А.—«Дворянский публицист Екатерининской эпохи». В книге: «Из истории русского общества». СПб., 1907, кн. 1, стр. 197—262.
7. Пыпин, А. Н.—Полузабытый писатель XVIII века (сочинения М. М. Щербатова, т. I). «Вестник Европы» за 1896 г., кн. ноябрь.
8. Семевский, В. И.—Политические и общественные идеи декабристов. СПб. 1909 (о масонских утопиях,—стр. 19 и след.).
10. Боголюбов, В.—Н. И. Новиков и его время. М., изд. Сабашниковых. 1916 г. (О Щербатове, стр. 157—164.)
11. Сакулин, П. Н.—Из истории русского идеализма. Князь В. Ф. Одоевский, том I, часть II, М., изд. Сабашниковых, 1913.
12. Лященко, А.—К истории русского романа. Публицистический элемент в романах Ф. А. Эмина (из «Jahresbericht der Reformierten Kirchenschule für 1897—98»). СПб. 1898.

13. Благосветлов.—Исторический очерк русского прозаического романа. В журн. «Сын Отечества», за 1856 г., № 28.
14. Белозерская, Н. А.—В. Н. Нарезный, изд. 2, СПб., 1896.
15. Пыпин, Н. А.—Для любителей книжной старины. М. 1888.
16. Сумцов, Н. Ф. проф.—Князь В. Одоевский, Харьков, 1884.
17. Одоевский, В. Ф. князь. «4338 год. Петербургские письма. От Ипполита Цунгиева, студента Главной Пекинской школы, к Лингину, студенту той же школы» в Альманахе В. Владиславлева: «*Утренняя Заря*» на 1840 г., стр. 307—352.
18. Щербатов, М. М. князь. Сочинения, 2 т. СПб. 1898.
19. Булгарин, Ф. Б. «Правдоподобные небылицы или странствования по свету в двадцать девятом веке». В «Литературных листках» за 1824 г. №№ 17—20; 23—24.

ОГЛАВЛЕНИЕ.

	СТРАН.
Глава I. Утопический социализм	3
Глава II. Утопизм в России.	7
Глава III. Русские утопии XVIII века.	10
1. Общий характер утопий	10
2. Кн. М. М. Щербатов	11
3. Утопия кн. М. М. Щербатова—«Путешествие в землю Офирскую».	14
4. Характеристика утопии Щербатова.	18
5. Источники «Офирской Земли»	21
6. Остальные утопии XVIII столетия (Херасков, Эмин, Чулков и пр.)	26
Глава IV. Переводные утопии	33
Глава V. Утопии XIX и XX вв.	35
1. Ф. Булгарин и Вельтман. Князь В. Ф. Одоевский.	35
2. Н. Г. Чернышевский.	43
3. «Красная Звезда» А. Богданова	49
Литература	51

EESTI RAHVUSRAAMATUKOGU



2-01-01092

2

Лавка пресатенной
Цена 2 р.

0/202



11-001